Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
http://buninivan.ru/ Приятного чтения!

Без роду-племени. Иван Алексеевич Бунин

I

С вечера я спал крепко, потому что слишком измучился за день, но потом мне стало сниться, что я иду по каким-то станционным дворам и запасным путям, среди паровозов и вагонов, ищу мужа Зины и хочу непременно убедить его, что я вовсе не враг ему. Я любил Зину, но теперь не думаю о себе, желаю только ее счастия. Казалось даже, что я говорил ему это, но он все уходил от меня, и я плохо его видел, а моя нежность к Зине возрастала, все кругом темнело, странно вытягиваясь коридором, и вот этот коридор – слабо освещенный, насквозь видный ряд вагонов – уже бежит, дрожа подо мною, и какая-то красивая девушка, перебивая мои слова веселым шепотом, зовет и уводит меня за руку все дальше по узкому коридору поезда. Я едва поспеваю за нею, в поезде темнеет, вагоны бегут, увлекая меня за собою, – падают все ниже и ниже, точно сама земля падает под ними, и радость, страсть и отчаяние достигают во мне такого напряжения, что я делаю усилие крикнуть – и просыпаюсь.

Так начался этот день. Очнувшись, я долго и тупо глядел на стену, изумленный спокойным видом комнаты. Давно день, ставни открыты, и на часах – половина десятого… Боже, какой тяжелый вздор снился мне! И что это напоминает он неприятное и как будто неестественное? Ах да! Зина повенчалась вчера с Богаутом…

Вот теперь я уж твердо верю в это. Правда, я ждал этого – и все-таки продолжал ходить к Соймоновым. И вдруг однажды вечером – темнота и тишина во всем доме; старик Соймонов один сидит в темном кабинете, усиленно курит, задыхаясь более обыкновенного, и говорит мне, как только я появляюсь на пороге, неестественно равнодушно:

– А Катерина Семеновна с Зиной по лавкам поехали.

И, попыхтев, продолжает иронически:

– Великое переселение народов, что называется… К семейному торжеству готовимся… Нынче, знаете, весьма скоропалительно выходят эти истории!

Он хочет смягчить свои слова иронией, но я понимаю его и стараюсь только об одном – получше попадать ему в тон, чтобы поскорее и поприличнее уйти.

И я ушел, пришибленный, точно выгнанный из дому. Чтобы заглушить чувство боли, я усиленно развивал в себе злобу, презрение к этим свадебным приготовлениям. Я бродил по городу и, когда однажды встретил жениха, проехавшего с какими-то картонками в коляске, остановился и расхохотался. Катается на чужих лошадях и доволен! Как домой, является в чужую семью, где портнихи и белошвейки завалили все комнаты материями и выкройками!.. А потом будут сумерки, освещенная церковь, суета около паперти… Подкатывают кареты, и щеголь-пристав горячится, чтобы сохранить порядок в этой церемонии… И церемония совершается в образцовом порядке!

Но даже попытки злиться не удавались мне. Я ходил на службу, и тоска, боль дурманили мне голову. А тут еще Елена! Она одинока, измучена беганьем по урокам, бросила семью и живет впроголодь; но зато у нее есть цели и надежды, мечты о курсах, о науке, о работе для общества. У меня нет пока никаких целей, и вольно же ей было мечтать увлечь и меня за собою! Всегда резко-бодрая, она изменилась за последнее время. То грустно-ласкова со мной, то хмурится, точно ей больно. А когда я заявил ей третьего дня о своем отъезде, она вспыхнула, взглянула на меня изумленными глазами, потом неловко и кротко улыбнулась и, едва выговорив: «До свидания», – ушла… Я рассеянно посмотрел ей вслед.

Но вот эти сумерки наступили, и я очнулся. Я минута за минутой пережил в воображении все, что должно происходить в церкви, и жгучая злоба, ревность разрывали мне сердце. Я плакал и кого-то умолял сжалиться надо мною… Если бы вошла она в эту минуту! Я обезумел бы от счастья, целовал бы ее ноги! Иногда я порывался бежать к ней и у нее искать спасения от моей скорби. Но она-то и мучила меня. Выхода не было, и я метался по своей комнате… Потом острая боль стала замирать. Совсем стемнело; затихающий гул соборного колокола медленно и ровно раскачивался над городом. Я знал, что все уже кончилось там, в церкви. Острую боль заменила тупая, скучная, и я крепко заснул.

Вот опять день, но мне теперь легче. То, что снилось, так странно слилось со всем пережитым за последнее время. Надо встать, собраться и куда-нибудь уехать…

II

Я долго мылся холодной водой, потом, не спеша, стал одеваться, что-то обдумывая. За стеной малороссийской скороговоркой ругала кухарку хозяйка. Мимо окна мягко прокатил по немощеной мостовой извозчик; стуча сапогами по деревянному тротуару, прошли два семинариста. Мне бы тоже давно пора идти – на службу, но я уже давно бросил думать о службе.

– Вы ж, панычу, справди уедете сегодня? – спросила Одарка, входя в комнату с кипящим самоваром в руках.

– Что? – машинально проговорил я и, помню, долго глядел на нее без ответа. «Да, – думал я, – Зина уедет сегодня с мужем в Крым. Значит, мне тоже надо уехать отсюда».

– Непременно уеду, – ответил я твердо. – Непременно.

И, как только Одарка скрылась, заварил чаю и несколько раз прошелся из угла в угол, оглядывая, с чего начать сборы в дорогу. Но вдруг дверь снова распахнулась: почтальон!
Я быстро схватил письмо – и мгновенно разочаровался. «Пожалуйста, не уходи никуда завтра. Мне нужно серьезно поговорить с тобой. Елена». «Какое бабье письмо!» – подумал я со злобой. Не уходи, серьезно поговорить! Что я могу сказать ей? Взволнованный, я кинул письмо на стол и опустился в кресло.

День облачный, ветреный – стоит уже конец сентября, – и ветер проносит по улице пыль и листья. В открытую форточку долетает тревожный шум тополей. Улица, где я так однообразно провел почти два года, безлюдная, тихая и вся в деревьях. Деревья на бульваре и около тротуаров – старые и развесистые. Теперь они шумят сухой листвою; ветер гонит облака пыли и качает их из стороны в сторону… А пять месяцев тому назад, в теплые апрельские дни, они кудрявились нежной, мелкой зеленью, голубое небо сияло между их вершинами, и я бродил под ними по мягкой, влажной земле, чему-то радуясь!
Пять месяцев… И мне хочется твердо и определенно сказать себе, что я очень глупо провел эти пять месяцев. Убедить себя в этом мне тем легче, что я не только не люблю Зины теперь, но даже со стыдом вспоминаю все, что говорил ей.

В марте образовался у нас «музыкально-драматический кружок», и я сам написал об этом событии корреспонденцию в «Летопись Юга». Корреспонденции увеличивают мое жалованье в земской управе рублей на восемь, на десять в месяц, и я аккуратно сообщаю в «Летопись» обо всех выдающихся городских событиях. С кривой улыбкой я пишу газетным жаргоном о положении народной столовой и чайной, о полковых праздниках и дамском благотворительном кружке, о доме трудолюбия, где бедные старики и старухи, измученные и обездоленные жизнью, обречены под конец этой жизни выполнять идиотскую работу – трепать, например, мочало… Пишу о том, что сельскохозяйственное общество «заслушало» и «передало в комиссию» чрезвычайно любопытный доклад под заглавием: «К вопросу об урегулировании свиноводства», и тут же добавляю, что «нельзя не отметить и другого отрадного факта: в среде местного интеллигентного общества, по инициативе супруги начальника губернии, возникла благая мысль организовать в нашем богоспасаемом городке кружок с целью проведения в жизнь и доставления публике здоровых и разумных развлечений…». С той же улыбкой я отправился и в дворянский клуб, на один из вечеров «кружка», в качестве скрипача, участвующего в концерте.

Утомленный однообразной зимней жизнью – службой, обедами в кухмистерской и скучными вечерами в своей студенческой комнатке, где всегда пахнет дешевым глицериновым мылом и где вся мебель состоит из стола, кровати, двух-трех стульев и плетеной корзины, – я был возбужден клубом. Я был доволен, что меня знакомят с семьями вице-губернатора и председателя суда, с чиновниками особых поручений и с богатым молодым помещиком Вечесловым, который так хорошо играет в любительских спектаклях… Все они такие свежие, бодрые, и все хотят незаметно обласкать тебя… В клубе – светло, просторно, зеркала, бархатная мебель, пахнет дорогим табаком, и оживленно идет говор. А главное, я не чувствую себя лишним на этот раз: я сыграл, как настоящий скрипач, одну вещь грустную, нежную, похожую на

колыбельную песенку, а другую – бойкую, в темпе мазурки, с резкими ударами смычка, – исполнил все, что полагается, и был одобрен… Вот тут-то и состоялось мое знакомство с Соймоновыми.
Все они мне понравились: и сам доктор, пожилой человек, похожий на помещика, с одышкой, и его жена, болтливая, молодящаяся дама, и ее падчерица, Зина, высокая девушка с темно-синими глазами и длинными ресницами.

– Зиночка, матушка! Что это ты сидишь такая сонная? – сказал Александр Данилыч, подводя меня к дочери. – Я вот тебе еще жениха привел. Сергей Николаевич Ветвицкий.

– Ну, садитесь и рассказывайте, – проговорила Зина. Она улыбнулась и подняла ресницы, но только на мгновение перевела глаза на меня, а потом снова стала равнодушно глядеть в сторону, сидя прямо и машинально играя веером.

Я спросил:

– С чего начать прикажете?

– В качестве жениха – с того, кто вы такой, откуда? «Имя, родина, родные?»

– Зовусь Магометом я, – сказал я с шутливой грустью.

– Полюбив, мы умираем? – добавила Зина.

Потом пристально и задумчиво посмотрела на меня.

– Вы не декадент? – спросила она.

– Почему? – ответил я, невольно смущаясь от ее взгляда.

– Да так… про вас ходят слухи, что вы нелюдим, гордец… потом у вас такое лицо…

– Какое? – спросил я живо.

– Больное, – ответила Зина, подумав. – Вы больны?

Я посмотрел на ее глаза и губы, на все ее красивое тело высокой и уже вполне развившейся девушки, услыхал запах ее духов…

– Болен, – ответил я шутливо, с болью чувствуя все обаяние ее.

– Чем?

– Жаждой того, чего у меня нет, – сказал я. – А хочу я многого… Любви, здоровья, крепости духа, денег, деятельности…

К удивлению моему, она, помолчав, быстро и серьезно ответила:

– Я очень понимаю вас. У меня тоже ничего нет. Только не нужно говорить об этом…

Я хотел что-то возразить, но удержался и только с радостью почувствовал, что между нами уже установилась какая-то тонкая связь.

– Ну, а почему же вы думаете, что я гордец и нелюдим? – спросил я.

– Потому что у вас очень надменный и грустный взгляд, – сказала Зина. – Мне кажется, что вы никогда никого не любили и что вы большой эгоист.

Я был задет за живое, но опять сдержал себя и стал говорить полушутливым тоном:

– Может быть… Кого любить? За что?

– Виновата, – вдруг сказала Зина. – Мне нужно подойти к тетушке.

И она с приветливой и радостной улыбкой пошла навстречу старухе, сопровождаемой белокурым и женственным молодым человеком, – старухе с лошадиным лицом и совиными глазами, которые посмотрели на меня очень удивленно. Я, как истый

пролетарий, опять почувствовал себя лишним и надулся. А когда Зина вернулась ко мне, начал притворно-лениво и очень некстати глумиться над жандармским полковником, над любительницей-певицей, пожилой, некрасивой и сильно декольтированной девушкой, над виолончелистом…

– Посмотрите, – говорил я, – какой он маленький, плюгавый. Лицо – конфетное, но зато волосы совсем как у Рубинштейна…

– А это кто, не знаете? – продолжал я, все более раздражаясь и все более желая вовлечь ее в разговор. – Вот тот пожилой господин с артистической наружностью и лицом алкоголика? Посмотрите, как у него запухли глаза и как он смотрит всегда – точно сонный, с холодным презрением. Это настоящий клубный посетитель, и про него непременно говорят, что он – умница, золотая голова, только спился, опустился и должен всем…

– Это Алексей Алексеевич Бахтин, мой дядя, – ответила Зина с неловкой улыбкой.

III

Таков был первый вечер. Однако я часто начал бывать у Соймоновых, и Зина сперва радовалась мне. Мы даже говорили друг другу, что мы – большие друзья, но что-то мешало нашей дружбе: общее у нас было одно – жажда жизни, – в остальном мы были чужды друг другу. Это я чувствовал больше всего, когда у Соймоновых собирались гости. Наши разговоры, – даже наедине, – не удовлетворяли меня. Наступили апрельские дни, мне хотелось куда-нибудь за город, в степь… Но она неизменно отвечала:

– Я вовсе не хочу, чтобы мы сделались басней города. Вот соберемся как-нибудь компанией. Вы ведь все равно знаете, что я только для вас поеду.

И я ограничивался тем, что провожал ее в лавки или в народную чайную, где она, в числе других дам-благотворительниц, дежурила по пятницам. А вечером я один уходил за город, к вокзалу за реку или в городской сад, где еще не началась летняя ресторанная жизнь.

По вечерам в саду совсем никого не было. Чистый весенний воздух холодел, в пустынном, еще черном саду казалось, что стоит ясный октябрьский вечер. Только звезды по-весеннему ласково теплились над вершинами деревьев и соловьи в чащах пробовали свои голоса. Резко пахло пробивавшейся из земли травой и самой землею – холодной и влажной… Дома же я до поздней ночи играл у раскрытого окна на скрипке, и скрипка звонко и жалобно пела в лад с моим сердцем.

Потом было одно время, когда Зина резко изменилась ко мне. В средине мая подготовительные управские работы к экстренному собранию не позволяли мне ходить к Соймоновым. И вот как-то в воскресенье я сидел в своей комнате и спешил окончить кое-какие статистические выкладки. С самого утра перепадал теплый, золотой дождик, и обмытая им майская зелень, и самый воздух, казалось, молодели от него. Гром рокотал то в той, то в другой стороне, но поминутно, между клубами дымчатых и белых облаков, вздымавшихся по небу, сияла яркая лазурь и выглядывало жаркое солнце. Я засмотрелся в окно, на голубые лужи под деревьями, как вдруг мимо окна быстро прошла Зина. С минуту я сидел неподвижно, изумленный ее появлением, потом схватил шляпу и кинулся на улицу… Ах, какой это был славный день!

– Мне было грустно без вас, – говорила Зина, смущенно улыбаясь, – я сама, наконец, решилась идти к вам.

И я в упоении целовал ее душистые руки с колючими перстнями и не знал, что сказать ей, от счастья…

А потом я не знал, что сказать, от сомнений. Я по целым ночам обдумывал на тысячи ладов, что может выйти из моего брака с Зиной. «Мы разные люди, – думал я, – она даже малоинтеллигентна. Наконец, у нее ничего нет, и куда я возьму ее? В эту комнату?»

И потянулись томительные вечера, которые я неизменно проводил у Соймоновых… Да и любил ли я ее?

Помню, в один холодный и дождливый вечер мне было особенно скучно. Зина что-то шила, я перелистывал журнал, нашел чье-то стихотворение:

Укор ли нам неся, прощальный ли привет,
Как дальних волн прибой, осенний ветер стонет…
– Не правда ли, хорошо? – спросил я, прочитав эти две строки.

– Да, красиво, – ответила Зина.

– А по-моему, – сказал Александр Данилыч, – все это собачья старость и больше ничего.

Зина звонко расхохоталась…

А тут у Соймоновых почти каждый день начал бывать помощник присяжного поверенного Богаут, молодой человек, здоровый и жизнерадостный, как немец, всегда и со всеми любезный и ласковый. Я же стал проводить вечера в обществе Елены, милой и простой девушки из духовного звания. Мы ели с ней колбасу, пили чай, слушали у окна музыку военного оркестра, доносившуюся из сада, и говорили о марксистах и народниках… О чем ином мы могли говорить с ней? Что-то очень милое было в ее простом, русском лице, что-то трогательное было в ее открытом взгляде и в том, как она, доставая из кармана юбки роговую гребеночку, причесывала свои стриженые волосы на косой ряд. Но я уже замечал, что она мою товарищескую нежность и нашу выдумку говорить на «ты» начинает принимать за любовь. Я смеялся и над марксистами, и над народниками, говорил, что я мог бы стать общественным человеком только при исключительных условиях, например, если бы настали дни настоящего общественного подъема, или если бы я сам хоть немного был счастлив лично… Она смотрела на меня в такие минуты пристально, жадно и, увлекаясь страстностью моих слов о личном счастье, о тоске существования среди поголовного мещанства, говорила задумчиво и убежденно:

– Ты не понимаешь самого себя…

IV

В надежде, что она придет как раз в мое отсутствие, я отправляюсь в кухмистерскую обедать.

В самом деле, какой скучный день! Прохожих мало, белые каменные дома в пыли. Ветер несет по мостовой эту белесую пыль и шуршит на бульварах тощими и почерневшими акациями… Вот присутственные места на площади, вот главная улица. Тут больше прохожих и проезжих; возле магазинов экипажи… Мне же все кажется, что в городе – праздник, потому что Зина вчера повенчалась и сегодня делает с мужем визиты… Шибко прокатил на паре серых, бойких и злых лошадей полицеймейстер. Пристяжная круто отвернула от коренника голову, полицеймейстер весело оглядывается, по-офицерски заложив руки в карманы. Это он к Соймоновым, должно быть… И я бессознательно прибавляю шагу; сердце забилось сильнее, и тянет еще раз взглянуть на их дом…

Но зачем?

И, преодолев себя, я сворачиваю на тихую Старо-Замковую улицу, где уже второй год обедаю в польской «кондитерской».

Я быстро подошел к дверям – и внезапно струсил. А если тут Елена? Ведь часто случалось, что мы обедали вместе. Может случиться и сегодня…

В нерешимости я прошел мимо окон, заглянул в столовую. В столовой пусто, значит, можно идти смело…

Но невеселые мысли и тут преследовали меня.

Знаете вы этих забитых трудом и бедностью старушек, которые встречаются иногда на улицах, в кухмистерских и присутственных местах в дни выдачи пенсий? Почему-то все они маленького роста, ходят в стареньких бурнусах и убогих шляпках, смотрят на все робкими, недоумевающими глазами и возбуждают мучительную жалость своим покорным видом… Как нарочно, и сегодня одна из них тут.

Я старался глядеть только в тарелку, но не мог забыть о своей соседке. «Верно, – думалось мне, – она дает уроки языков или музыки, живет одна в чистой комнатке, где горит лампадка в часы ее недолгого отдыха, когда темнеет субботний вечер и тихо реет над городом звон ко всенощной… Чувствует ли она, как горько на старости лет, без семьи, без близких, отдыхать только в субботний вечер? Знает ли она, как тяжело глядеть на нее, когда плетется она в своем старом бурнусе с урока в кухмистерскую или вечером в лавочку за осьмушкой чаю?»

Дома я усердно принимаюсь за уборку вещей в дорогу. Но какие же у меня вещи?

Я открыл корзинку, в которой в беспорядке навалено белье, выдвинул из-под кровати чемодан с письмами, бумагами и нотами – и опустил руки.

Тут все мои воспоминания. Этот чемодан – мой старый товарищ. В первый раз он отправился со мной в путешествие еще тогда, когда я только что «вступал в жизнь», ехал на юг в университетский город.

Удивительно живо помню я эти дни в пути! Помню даже, как смотрелся в зеркало на вокзале в Курске и думал, что похож на Шопена; помню, как по вагону ходили полосы света и тени – от яркого мартовского солнца и клубов дыма, плывущих мимо окон. Снежные поля блестели золотой слюдой, сияющая даль манила к югу, к чему-то молодому и веселому… А потом – большой, шумный город, весна, во всем что-то нежное, легкое, южное… Северный уездный городок, где осталась моя семья, разорившаяся помещичья семья, был от меня далеко, и я не понимал тогда, что потерял последнюю связь с родиной. Разве есть у меня теперь родина? Если нет работы для родины, нет и связи с нею. А у меня нет даже и этой связи с родиной – своего угла, своего пристанища… И я быстро постарел, выветрился нравственно и физически, стал бродягой в поисках работы для куска хлеба, а свободное время посвятил меланхолическим размышлениям о жизни и смерти, жадно мечтая о каком-то неопределенном счастье… Так сложился мой характер и так просто прошла моя молодость.

Собственно говоря, и вспоминать-то нечего. А все-таки при взгляде на этот истрепанный чемодан я опускаю руки, подавленный воспоминаниями. Каждый раз, как мне приходится укладывать в него мой скарб, я говорю себе: вот еще невозвратно прошло столько-то лет; еще часть моей жизни оторвана… И мне больно говорить это себе. Вспоминаются один за другим дни, проведенные в этой комнате, – дни, полные неопределенных, часто сладких надежд и мечтаний. Вспоминаются и далекие дни, те, что уже в тумане. О них говорят связки писем. Вот письма родных, которые где-то там, на севере, все еще ждут меня к праздникам и грустят обо мне с нежною любовью, как о мальчике… Вот письма первой любви, первых товарищей… И при взгляде на каждое из них у меня сжимается сердце.

Резкий звонок заставил меня быстро вскочить с кресла и кинуться к шляпе. Елена! И я заметался по комнате, готовый даже выпрыгнуть в окошко. А между тем уже слышен ее голос:

– Дома Ветвицкий?

Я распахнул дверь, пробежал через кухню, а оттуда – по двору к калитке…

V

До позднего вечера я бродил за городом.

Кругом было поле, безжизненное, унылое. Наплывали угрюмые тучи, ветер усиливался, и сухой бурьян летел по пашням в неприветную, темную даль. И на душе у меня становилось тоже все темнее и темнее.

В смутном, волнующемся сумраке городского сада я сидел под старыми деревьями на забытой скамейке. Вот где, думалось мне, уныние теперь – на кладбище! Разве в смерти есть что-нибудь ужасное, сильное? Смерть – ничто, пустота. И только одним этим и пугает нас смерть. И на кладбище так же: сумерки, ни души кругом; могилы и могилы, заросшие травою; трава теперь высохла, пожелтела и тихо шелестит от ветра…

«А где Елена?» – приходило мне иногда в голову.

Я вдруг вспоминаю чью-то легенду о ветре и душах повесившихся людей и в испуге поднимаюсь со скамьи. Зачем я так скверно спрятался от нее? Зачем не поговорил с ней? Но что же я мог сказать ей? Это все равно, что мне отправиться сейчас к Зине…

Я опять сажусь и пристально гляжу в одну точку, стараясь охватить то, что творится в моей душе.

Звезды в мутном небе светят бледно и сумрачно. Ветер поднимает пыль на дорожках почти темного сада, и с деревьев сыплются листья. Точно напряженный шепот, не смолкает надо мною порывисто усиливающийся шум и шелест деревьев. А когда ветер, как дух, как живой, убегает, кружась, в дальние аллеи, старые тополи гудят там так угрюмо, жутко…

Когда я наконец решил вернуться домой, была уже ночь. Подавленный тоской, подгоняемый ветром, я бессильно брел по улицам. Вот и наш домишко ярко светит окнами в черном мраке под деревьями. Кругом шум ветра и листьев, а там тихо, и сухие ветки плюща сонно качаются над окном моей комнаты. В ней, за стеклами, спокойным, ровным светом горит лампа… Зачем я еду? Кто гонит меня в эту даль, где полутемный поезд, одинокая ночь и долгий замирающий стон паровоза?

В страхе я остановился.

– Елена! – хотелось крикнуть мне.

И, точно угадав мое желание, она неслышно вышла из темноты под деревьями.

– Можно к тебе? – спросила она деревянным голосом.

Я растерялся, смущенно пробормотал:

– Конечно… Конечно, можно…

В темноте я долго не мог попасть ключом в замочную скважину, наконец отворил дверь и неестественно-шутливо проговорил:

– Прошу!

– Я только на минутку, – ответила она сухо, входя в комнату и не глядя на меня.

Я подвинул ей кресло, сел против нее и взял ее за руку.

– Снимай, – сказал я ласково, указывая глазами на перчатку, – посиди у меня.

Она взглянула на меня, улыбнулась, но вдруг губы ее дрогнули и на глазах показались слезы.

– Елена! – сказал я укоризненно.

Она не ответила. Я повторил свои слова, но уже без нежности и пожал плечами.

– Елена! – снова начал я с раздражением. – Надо же взять себя в руки, – прибавил я, чувствуя, что говорю глупости.

Она упорно молчала. Зубы ее были стиснуты, в голубых глазах, пристально устремленных на огонь, стояли слезы.

Я с шумом отодвинул кресло, быстро застегнул на все пуговицы пиджак и, заложив руки в карманы, заходил по комнате. Но, повернув раза два или три, снова бросился в кресло и, прикрыв глаза, спросил с холодной насмешливостью:

– Что же тебе угодно от меня?

Она быстро и удивленно взглянула на меня, хотела что-то сказать, но вдруг закрыла лицо руками и разразилась громкими рыданиями. И, рыдая, комкая к глазам платок, заговорила отрывистым, резким голосом:

– Ты не смеешь так говорить!.. Как ты… смеешь… когда я… так… относилась к тебе?

Ты обманывал меня…

– Зачем ты врешь? – перебил я ее. – Ты отлично знаешь, что я относился к тебе по-дружески. Но я не хочу вашей мещанской любви… Оставьте меня в покое!

– А я не хочу твоей декадентской дружбы! – крикнула Елена и отняла платок от глаз. – Зачем ты ломался? – заговорила она твердо, сдерживая рыдания и глядя на меня в упор с ненавистью. – Почему ты вообразил, что мной можно было играть?

Я опять резко перебил ее:

– Ты с ума сошла! Когда я играл тобою? Мы оба одиноки, оба искали поддержки друг в друге, – и, конечно, не нашли, – и больше между нами ничего не было.

– А, ничего! – снова крикнула Елена злобно и радостно. – Какой же такой любви вам угодно? Почему ты даже мысли не допускаешь равнять меня с собою? Я одна, меня ждет ужасная жизнь где-нибудь в сельском училище, я мелкая общественная единица, но я лучше тебя. А ты? Ты даже вообразить себе не можешь, как я вас ненавижу всех – неврастеников, эгоистов! Все для себя! Все ждете, что ваша ничтожная жизнь обратится в нечто необыкновенное!

– Да! – сказал я со злобою, подымаясь. – Я люблю жизнь, безнадежно люблю! Мне дана только одна жизнь, и та на какие-нибудь пятьдесят лет, из которых пятнадцать ушло на детство и четверть уйдет на сон. И при этом я никогда не знал счастья! Смешно, не правда ли?

Но Елена опять прижала платок к глазам и зарыдала с новой силой.

– И поэтому ты… – заговорила она гадливо. – И потому ты сегодня так низко и спрятался от меня? Ты опять лжешь, чтобы закрыться пышными фразами…

Я с неимоверной быстротой схватил пресс-папье и со всего размаху ударил им по столу.

– Уйди! – крикнул я бешено.
И мгновенно похолодел от ужаса за сделанное. Я увидал, как Елена вскочила, сразу оборвав рыдания, и лицо ее перекосилось от детского страха.

– Уйди! – закричал я опять, но уже другим, жалким голосом.
Она распахнула дверь, и ветер, как шалый, со стуком рванул к себе раму, с шелестом и шумом деревьев ворвался в комнату и мгновенно вырвал свет из лампы. Я упал на постель, уткнулся лицом в подушку и заскрежетал зубами, упиваясь своей скорбью и своим отчаяньем. Тополи гудели и бушевали во мраке…
1897

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
http://buninivan.ru/ Приятного чтения!
http://buckshee.petimer.ru/ Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
http://petimer.ru/ Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
http://worksites.ru/ Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
http://filosoff.org/ Философия, философы мира, философские течения. Биография
http://dostoevskiyfyodor.ru/
сайт http://petimer.com/ Приятного чтения!